

Владимир Галактионович Короленко УШЕЛ!

(Рассказ о старом знакомом)

1

Несомненно, что пароходы и паровозы, вообще усовершенствованные средства передвижения, при всех своих преимуществах, имеют один крупный недостаток: они извращают перспективу и, сближая отдельные пункты между собою, удаляют нас от страны вообще. Мчишься в поезде от станции до станции или на пароходе от пристани до пристани, и страна мелькает мимо с головокружительной быстротой, оставляя впечатление грохота, свиста, дыма, в лучшем случае молчаливого пейзажа, красиво освещенного луной... И где-то там, вдалеке, еще мерцают огоньки... Но как живут в этих деревнях, куда едет эта телега, промелькнувшая на пыльной дороге, рядом с полотном чугунки, о чем говорят эти мужики, остановившиеся в сумерках перед железнодорожным барьером у будки, в поле, — все это в виде мимолетного вопроса проносится и

исчезает... И пока эти мужики доедут на своих тощих лошадках до своей деревни за десять — пятнадцать верст или до базарного села, или пока погаснет на берегу реки костер, у которого с паровой палубы мы видели темные фигуры рыбаков, ночующих на отмели, — вы уже будете далеко, в другой местности с другим характером, с другими людьми и другими интересами. И затем в воспоминании путешественника откладывается только быстро мелькнувшая пестрая панорама, гул, свист, движение и еще железнодорожные буфеты. «А! Клин! Поезд стоит пятнадцать минут, отличные пирожки». Или: «Станция Надсада... Отвратительное пиво».

С этой точки зрения страна слишком упрощается и представляется какой-то легкой. Так удобно и так скоро проносятся мимо все эти впадины и горы, деревни, местечки, мосты, подъемы, проселки, переправы... И начинает казаться, по обратной ассоциации, что и в этих деревнях, поселках, на этих переправах и пыльных дорогах так же легко, и так же удобно, и так же гладко идет их жизнь...

Но стоит сойти с поезда или с парохода — и точка зрения сразу меняется: поезд свистнул и умчался, и исчез из виду, пока вы прошли несколько десятков сажень; пароход завернул за отдаленную гору на повороте реки, пока вы успели

взобраться на глинистый откос по крутой тропинке, — а вы остались и чувствуете, что кругом вас начинается что-то другое... Жжет солнце, слепит пыль, жужжат овода и мухи, томит жажда, каждый шаг стоит усилия, так бесконечны поля, так трудны дороги, так озабочены люди, так далека вся жизнь от быстрого движения поезда... И так тяжела, кажется, эта жизнь бесконечной страны. И столько в ней порой захватывающего и интересного.

* * *

Все эти мысли мелькали в моей голове, когда, сойдя с парохода на одной из волжских пристаней, я плелся пешком по горному берегу Волги, то подымаясь на холмы, то спускаясь на плотный песок волжских отмелей... По реке тихо проплывали плоты и барки, порой пробегал пароход, маленькие фигурки виднелись на его палубе, и мне казалось так странно, что еще недавно я сам мчался так же быстро, не замечая, может быть, такого же пешехода с палкой и котомкой, который так же смотрел на пароход с берегового холма и казался маленьким ничтожным муравьем, одним из тысячи безличностей, мелькающих перед глазами в течение одного часа.

Солнце только начало склоняться, когда, усталый и голодный, я входил в приволжское село Р... Река, залитая солнечными лучами, сверкала и казалась расплавленным металлом. Смотреть на нее было трудно, огромная беляна, попавшая в полосу света, теряла свои очертания, как будто в самом деле начиная гореть и расплавляться. На берегу, выстроившись прямым порядком, стояли дома с тесовыми крышами и как-то тупо глазели своими окнами на реку. День был будний, но на завалинках сидели женщины, раздетые пестро, и лущили семечки. Молодые девушки были нарумянены грубо и густо... Эти ряды женщин казались такими же скучными, как и ряды домов, как и вся летняя жизнь торговых приволжских сел. Землей они не занимаются и сдают ее в аренду жителям деревень, более отдаленных от реки. Все мужчины ходят матросами, водоливами, приказчиками, кочегарами на судах, а женщинам остается легкая работа около домов и в огородах. Каждый раз, когда мимо бежит знакомый пароход, они выходят на крутые откосы и машут платочками. Это значит, что они встречают отца, мужа или милого. Но фигуры на рубке видны плохо, и только иной раз гулкий рев свистка отвечает с реки на приветствие. Когда же пароход или караван барок остановится у пристани, женщины надевают свои праздничные платья и садятся на скамеечках. А кавалеры в пиджаках, в

суконных картузах, в сапогах бураками и при часах ходят по улицам, подходя то к одной, то к другой группе — и все это чинно, безжизненно, вяло и скучно.

Так было и в этот день, когда, спустившись с горы, я проходил по селу... В одном только месте казалось шумнее: в середине берегового «порядка» виднелся большой двухэтажный дом из барочного леса, с тесовой крышей и балкончиками, довольно нелепо присаженными в разных местах, на столбах и на сваях. С главного балкона глядела на реку широкая вывеска, на которой сусальным золотом по измятой жести была выведена надпись: «Свидание друзей».

У берега стоял длинный караван барок и два буксира, поэтому трактир работал хорошо, на балконах виднелись фигуры с потными и красными лицами, солнце отсвечивало в стеклянной посуде разного вида, а изнутри неся шум, беспорядочный и нелепый...

За селом на берегу виднелся широкий ложок, на котором лежали штабели леса, а за этой лесной пристанью, опять под горой лепилась соседняя деревушка, поменьше. Там шумели ряды столетних осокорей, и я знал, что в их тени приютилась харчевня Степана Корнеева, у которого я мог отдохнуть и напиться чаю. Поэтому, миновав суетливый трактир и ряды домов, пройдя по

бичевнику, заваленному лесом, я стал приближаться к осокам, гостеприимно шумевшим мне навстречу... Подымался легкий ветер. Из-за горы тихо, будто крадучись, осторожно выдвигалась темная туча.

Оказалось однако, что харчевня Степана Корнеева, стоявшая под яром и спереди поднятая на высоких сваях от весенних разливов, — заперта на замок. Девчонка, качавшая под навесом люльку с плачущим ребенком, на мой вопрос о хозяине указала рукой на реку.

— Эвона, надо быть...

Я посмотрел в этом направлении и увидел, на сверкающей воде, ряд темных расплывавшихся на зыби пятнышек, — это рыбаки-любители, забросив с лодки камень вместо якоря, удили рыбу. Степан Корнеев был страстный рыбак и начетчик, отчего мало выигрывала его харчевня... Как бы то ни было, приятная перспектива отдыха и беседы с умным мужиком исчезла...

Я остановился в нерешимости...

Мой приход и разговор с девчонкой привлек внимание двух субъектов, устроившихся за стеной харчевни, между сваями на зеленой траве. Одного из них я видел только ноги, босые, с жилистыми ступнями, в коротких штанах из летней пестрой материи. Другой, кудрявый молодой человек, в ситцевой рубашке и широких коломянковых портах,

вышел из-за угла и, придерживаясь за сваю, покачивался на ногах и смотрел на меня совершенно мутными, бессмысленными глазами. Казалось, рассмотреть мою фигуру ему стоило таких же усилий, как и удержаться в вертикальном положении. Наконец, повидимому, ему удалось притти к определенному заключению, и он сказал заплетающимся языком, с выражением крайнего изумления:

— Странник!

Он опять качнулся, опять долго разыскивал меня глазами, как будто это были у него телескопы, плохо приспособленные к расстоянию, и, убедившись, что я стою все на том же месте, сказал:

— П-при... часах...

— Ну его к чорту! — сказал из-за стены невидимый голос. — Небось, и баба опять...

Субъект опять нашел меня мутными глазами и сказал:

— А бабы нету...

— Ну, все одно! Брось... Ну его, говорю, к чорту, выпьем.

За углом послышалось бульканье; этот звук расшевелил моего незнакомца. Он качнулся на волю судьбы, его кинуло ко мне; толкнувшись в меня довольно грузно, он с остатками пьяной деликатности сказал:

— Низвините... Здравсти... Значит на прошлой неделе... такой же вот странник шел, к Вонифатию... И баба с ним... Я так полагаю... гля осуждения.

— То есть как это для осуждения? — спросил я. — Не понимаю.

Пьяный посмотрел на меня таким мутным взглядом, что у меня исчезла всякая надежда получить какой-нибудь ответ. Но тут вмешался голос из-за угла.

— Чего тут понимать, голова с мозгом! Значит, дабы всякой человек мог его осудить: дескать, вот богомолец. С молодкой идет богу молиться... А ему, значит, то и надо... Гля бога осуждение принять... Понял?

— Теперь понял, — ответил я.

— А не понял, то прочти житие...¹ во Христе Юродивого. А только, я полагаю, не те времена... Шарлатан какой-нибудь. Ноне, скажем, и все шарлатаны по богомольям таскаются...

И, произнеся этот решительный приговор, голос прибавил:

— На вот... выпей...

Из-за угла появилась рука с светлой посудиной, до половины наполненной водкой.

¹ Пропуск автора. (Ред.)

Человек, которого называли Миней, с внезапной вспышкой живости схватил бутылку и, закинув голову, приложил горлышко к губам. Так он простоял с полминуты, не отрываясь от бутылки, содержимое которой быстро исчезало. Потом он покачнулся и опять схватился за сваю.

— Миня! — позвал опять голос из-за угла.

Миня попытался последовать на зов, но ноги отказывали ему в повиновении, и остатки сознания, видимо, терялись. Наконец, отпустив сваю, он закатился полукругом и растянулся около стенки. Голова его, кажется, порядочно стукнулась о завалинку. Он пробормотал что-то и остался лежать с глазами, открытыми навстречу дальнейшим событиям, течение которых уже явно не зависело от воли бедного Мини.

— Прича-алил... А-кончательно! — сказал голос за углом с глубоким презрением. — А-атлично! Первый печник в округе вроде какой ни-на-будь животной... Превосходно...

Босые ноги, видневшиеся из-за угла, скрылись, но зато появился их обладатель. Это был человек, одетый довольно странно: ноги были босые и грязные, штаны странного покроя и короткие, но на голове виднелась соломенная шляпа с синей лентой. Пиджака на нем не было, но была довольно грязная, когда-то белая пикейная жилетка, на которой моталась толстая цепочка от

часов. Сорочка «фантазия» была повязана измятым, тоже довольно фантастическим бантом.

Лица я в первую минуту не разглядел, так как он наклонился над пьяным товарищем, стараясь возбудить в нем самолюбие.

— Так и останешься? — говорил он укоризненно. — Миня! А Минь... Готов! — философски произнес он тоном врача, ставящего диагноз. — Почует во дни скорби своя... Эх, Миня, Миня...

Что-то показалось мне знакомое в этом голосе, с его непосредственно-юмористическими нотками, и во всей сданной и, правду сказать, довольно-таки нелепой фигуре. Тем не менее, когда этот человек поднялся и я увидел его лицо, то невольно вскрикнул от неожиданности:

— Андрей Иванович!

— Я самый! — ответил он холодно, хотя в первое мгновение я не мог не заметить промелькнувшего в его глазах удивления, пожалуй, даже удовольствия. — А вы это откеда? Небось, опять из монастыря какого-нибудь?

— Нет... Я из города... В Безводном сошел с парохода.

— Куда же это берегом идете?

— До Козьмодемьянска. Потом по Ветлуге, на Люнду.

— Чего там не видали?

Он говорил с выдержанной холодностью и при этом мерял меня глазами, пытливо и не особенно дружелюбно.

— Может, ко мне в дом зайдете? — сказал он по окончании этого осмотра.

— Да вы разве здесь теперь живете?

— А то где же!

Андрей Иванович — давний мой знакомый и спутник некоторых моих летних экскурсий по монастырям и богомольям — долгое время жил в Нижнем, на Яриле, в своеобразном поселке под самым городом. На окне его квартирки виднелся вырезанный из сахарной бумаги сапог, что означало его профессию. Дела его шли сравнительно успешно, тем более, что труженик он был замечательный. Лишь в известное время, летом, у него являлось какое-то беспокойство, как будто в нем просыпался бродяга. Я пользовался этими случаями, и мы вместе отправлялись в те или другие места, смотря по расположению души Андрея Ивановича, чувствовавшего влечение к той или другой святыне. Жена его Матрена Степановна не особенно одобряла эти экскурсии, несомненно, отражавшиеся на бюджете, но поделаться с ними ничего не могла и в конце концов терпела их, тем более, что они как бы заменяли для Андрея Ивановича запой, которым он страдал раньше...

Выехав как-то из Нижнего, я потерял Андрея Ивановича из виду и затем, отправившись по возвращении в знакомую улицу на Яриле, я уже не нашел его на старом месте. Правда, здесь опять жил сапожник, но вместо незатейливого сапога из сахарной бумаги виднелась вывеска. На куске жести был намалеван огромный сапог рядом с совсем маленьким башмаком, а внизу стояла надпись: «Максим Гордеев, и принимает починку». За верстаком сидел незнакомый Максим Гордеев, человек с бритой бородой и огромными, торчавшими врозь усами.

Это был человек серьезный и деловитый, и, узнав, что я не имею в виду заказа, — не пожелал терять время на пустые разговоры. Об Андрее Ивановиче он или действительно ничего не знал, или просто не желал распространяться. У соседей тоже ничего почти узнать не удалось Андрей Иванович исчез так, как делал всебыстро и с внезапной решительностью.

В куче зевак, собравшихся около меня на пыльной и истомленной от скуки улице, говорили разное. Одни сообщали, что Андрей Иванович ушел к раскольникам, которые за это дали ему денег, другие — что он уехал искать счастья «на низ», третьи — что он умер...

Когда зайдя в ближайшую мелочную лавочку, я предложил тот же вопрос, то лавочница, рыхлая

особа средних лет, вязавшая на досуге чулок, как будто даже обиделась:

— Не знаем... Мало ли их, хоть и сапожников... Был, да нету, и все тут... Другой пьяница нашелся... Есть кому подметки-то подкинуть...

Из этого я понял, что Андрей Иванович, человек довольно строптивый и всегда высказывавший обличительные наклонности, — расстался с соседями не особенно дружелюбно. Можно было даже предполагать, что он излил в минуты расставания всю горечь, накопившуюся за многие годы в его бурной душе против человеческого рода вообще и против сословия лавочников в частности.

Как бы то ни было, Андрей Иванович исчез с моего горизонта, и я не без грусти думал об этом обстоятельстве, возобновляя свои экскурсии. Несмотря на некоторые неровности своего настроения, товарищ он был отличный и часто интересный собеседник, очень восприимчивый, после многих месяцев усидчивой работы, к красотам природы. Туча, золотой закат, птица на придорожной ветке, переливы хлебов или даже стадо, пригнанное в знойный полдень к болоту, — все это потрясало его, умиляло, вызывало усиленную жестикуляцию и экспансивные, часто неожиданные восклицания. Человеческая